С Маяковским по Союзу

В год 90-летия со дня рождения В. Маяковского «Литературная газета» проводит «разговор-путешествие» (выражение поэта) известных советских писателей по городам, где он бывал, читал стихи, устраивал диспуты.

Путешествие, начатое в Грузии (диалог Евгений Евтушенко — Отар Чиладзе, «ЛГ», № 14), было продолжено в Киеве (в разговоре участвовали Расул Гамзатов, Евгений Долматовский, Иван Драч, Борис Олейник, «ЛГ», № 24).

Третий «разговор-путешествие» — в Ленинграде.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
13 июля 1983 г. № 28

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

ДУДИН. Маяковский пришел ко мне в день своей смерти. С одноклассником мы приехали в Иваново (я родился и рос в деревне Клевнево под Ивановом) на три дня, на каникулы, купили на вокзале газету — номер был целиком посвящен смерти Маяковского...

Позже в ивановской текстильной фабрике-школе вместе с другом Г. Рябининым мы участвовали в выпуске газеты, где и он, и я, следуя примеру Маяковского, боролись за свою пятилетку. Мы читали Маяковского, знали его наизусть — и «Во весь голос», и «Про это», и заграничные стихи... После ФЗУ я, как и большинство других, делавших эту газету, был направлен на работу в печать. Я попал в ивановскую газету «Ленинец», и началась очень хорошая учеба, которая впоследствии пригодилась, потому что газетная работа научила держать руку на пульсе времени. Это я понял потом, а тогда увлекались Маяковским, подражали его кипучей натуре, его неутомимой разносторонней деятельности. А затем — полуостров Ханко, война, и вот там-то, на Ханко, опыт работы Маяковского очень много мне дал. Я писал в газету очерки, стихи, частушки, лозунги, «шапки», выпускал листовки (они целы до сих пор). В каждом номере мы печатали «Гангут смеется»: рисунки моего земляка ивановца Б. Пророкова, который потом стал знаменитым и за антивоенную серию рисунков «Это не должно повториться» получил Ленинскую премию, а стихи — мои. И делали это как раз по примеру Маяковского. Но мы не подражали ему, а работали по-своему, памятуя его пример...

ГОРБОВСКИЙ. У каждого — свой Маяковский, так же как и свой Пушкин. Когда я думаю о «моем» Маяковском, я вспоминаю послевоенный Ленинград. Еще свисают с высоты четвертых-пятых этажей скрученные взрывом железные балки, еще гоняет ветер серую пыль на пустырях, где потом поднимутся на месте разрушенных новые дома или будут зеленеть скверы. У меня за спиной — оккупация, беспризорничество, бродяжничество. Но я редко вспоминаю об этом, встречаясь со сверстниками: каждому есть что вспомнить, почти у каждого — своя горькая одиссея. Мне еще можно позавидовать: недавно я встретился с отцом, долгие годы оторванным от семьи.

Строки Маяковского были у нас на устах. Они привлекали своей естественностью, обращением со словом запросто — они были похожи на ту городскую народную речь, которая звучала вокруг нас. Именно народную — я настаиваю на этом слове. Потому что народность — это не только то, что связано с крестьянскими, сельскими корнями, с пословицей или частушкой. Наш народ давно уже не только сельский, но и городской. И быть народом от этого не перестал.

Притягивал и самый облик поэта — его мужественная красота, рост, крупность фигуры. Тем более что художники — авторы иллюстраций, плакатов, книжных обложек — всячески подчеркивали именно эти качества. Может быть, здесь в какой-то степени сказывалось и то, что большинство из нас росло без отцов. Мы даже внешне иногда старались походить на Маяковского — например, стриглись «под ноль».

А когда врачи заподозрили было у меня туберкулез, как-то сами собой вырвались явно «маяковские» строчки:

Мама,
мне сегодня нестерпимо плохо,
Стучат
по барабану легких
палочки Коха...

Подозрения, к счастью, не подтвердились. Но не только по этой причине стихи остались лежать в черновиках. Жизнь показала, что такая прямая учеба у Маяковского — не для меня...

ИБРАГИМБЕКОВ. Не сомневаюсь, что и те, кто не испытал, как Дудин и Горбовский, столь непосредственного воздействия Маяковского, все равно находятся в поле притяжения его громадной личности, его опыта, его позиции—«Жизнестроение вместо жизнеописания». Когда он приехал в Баку в 26-м году, то сразу отправился на строительство новых нефтяных промыслов. И вскоре увидел свет его очерк «Америка в Баку». В 27-м, попав в Баку, он едет на Завод имени лейтенанта Шмидта, в университет, на встречу с писателями, библиотекарями. Он пишет в статье «Рожденные столицы», навеянной этой поездкой, о том, как исчезает, меняется понятие «литературная провинция». Его притягивало все новое, и он стремился всячески это новое поддержать: «По Советской республике накопились новые факты, и ловить их в записную книжку интереснее, чем размусоливать потрепанный любовный фактик в целый роман или рассказ. Интереснее и читателю, и писателю».

Маяковский был прежде всего певцом своего времени. А время это — революция. И жить он будет, пока в мире будет существовать идея революции, идея революционного преобразования мира.

Поэтика пьес Маяковского, их форма — объективно существующий лучший способ отражения состояния мира и общества в период их катаклических ломок и перестроек. Я ощутил это на себе, когда решил написать пьесу «Ультиматум»—о революционных событиях в Азербайджане в апреле 1920 года. Несмотря на все попытки удержаться в пределах привычного для меня жанра психологической драмы, я в процессе работы из-за стремления полнее и точнее отразить события и дух нескольких дней жизни революционного Азербайджана совершил помимо своей воли сильный дрейф в сторону драматургии, в которой человек существует прежде всего как персонаж своего времени, с четкой социально-общественной функцией.

Явившаяся родоначальницей советской драматургии «Мистерия-буфф» — образная модель возникновения революционной ситуации и ее исторического развития, насыщена людьми-знаками; это фреска, сделанная по законам монументального искусства, и попытки индивидуализировать персонажей в ней привели бы к затруднению целостного восприятия пьесы.

Интересно, какие пьесы, какие стихи писал бы Маяковский, живи он сегодня? Может быть, именно потому, что талант его был столь страстно гражданствен, а сам он всей своей сутью был человеком времени, в котором родился и жил, — то, что вышло бы из-под его пера сейчас, привлекло бы внимание современников иными качествами, иными средствами выражения. Мне кажется, стремление к полному внутреннему слиянию с эпохой, способность подчинить талант одной цели — понять и выразить ее неповторимые особенности, поиски новых художественных средств для этого — неминуемо предъявили бы современному миру иного Маяковского.

Если сравнить человечество с океаном, то каким бы сильным ни было волнение на его поверхности, какие бы бури и гигантские валы на ней ни возникали, стремясь вовлечь в свое движение и более глубоко залегающие слои воды, остается придонная толща, сохраняющая состояние покоя всегда и во все времена. Мало ли мы знаем людей, которые прошли через многие испытания нашего века, миновав необходимость непосредственного в них участия?! Мало ли знает история искусств художников, которые, считая себя принадлежностью вечности, рассказывали в своем творчестве только о вечном, не придавая большого значения событиям, происходящим вокруг них в короткое время их физического существования, — кому из них удалось достичь желаемого результата?

ГОРБОВСКИЙ. Мне кажется, Маяковский мог создать еще немало прекрасных стихов на «вечные» темы, над которыми сам порой иронизировал («мелкая философия на глубоких местах»), но он считал нужным «тратить себя» иначе. И по-другому не мог. Со свойственной ему безоглядностью поэт отдал себя делам и заботам своего времени, иногда совсем забывая— и надолго — о себе. В его формуле «о времени и о себе» «время» стоит на первом месте, вне «бучи боевой, кипучей» он себя не мыслил. Ведь звание «поэт Революции» присвоено ему не историками литературы, а самой Историей.

ДУДИН. Маяковский был обеспокоен потоком строк, далеких от жизни, называл их «стихийными бедствиями»: «Стихотворное наводнение выходит далеко за пределы литературных интересов. Это уже не стихи, а «стихийные бедствия».

АДАМОВИЧ. Послушайте (любимое обращение Маяковского), что он говорил в своем докладе «Лицо левой литературы» (в Минске Маяковский выступал с ним четыре раза, выступал с тем же докладом и в Ленинграде):

«Писатели, особенно поэты, плодятся с быстротой бактерий. Человек часто становится писателем еще до написания им книги, «знаменитостью» — по выходе ее. Возведению в сан «знаменитости» обыкновенно помогают друзья-критики, забывая, что литературная работа — работа трудная, ответственная, требующая высокой квалификации. Почему слесарь, например, должен быть подготовлен к своему ремеслу и почему ни один человек не возьмется сделать болта, не будучи мастером, а писатель может обойтись без всего этого? А между тем литературная работа есть тот же производственный процесс. Это плохо понимают, отсюда размножение в литературе безграмотных бездельников и дармоедов, к тому же зараженных самомнением и чванством».

Сейчас литературе безграмотность, разумеется, меньше угрожает, чем во времена Маяковского. А вот выпуск безликих поделок продолжается, и поток этот, создаваемый авторами, которые забыли или вовсе не хотят помнить, что литературная работа трудная, ответственная, делаю ударение на слове «ответственная», — создаваемый ими поток серости отвращает читателей от серьезной литературы. А так как свято место пусто не бывает, то свободное время заполняется развлекательным чтением, пустяками, не требующими работы ума, работы души.

ДУДИН.

Нам душат души прошлого обноски,
Стартуют в вечность наши корабли.
А мы еще, товарищ Маяковский,
В конюшне века грязь не разгребли.
И захламлен поэзии колодец
Возвышенно ремесленной тоской,
И человечьей силы полководец
Пошел в размен на ярмарке мирской...

Маяковский не старался быть новатором. Это было естественно для него, человека очень одаренного. Он поэт по своей судьбе, а не потому, что захотел стать поэтом. Это для него была не профессия, а судьба—его работа. Хотя он говорил «делать стихи», «поэзия — производство», называл себя «заводом, вырабатывающим счастье», но он смотрел на это как мастер. А ведь в мире все держится на мастерах, на людях, которые умеют в совершенстве делать свое дело. Маяковский был мастером, который умел слушать и понимать главное во времени, и отвечать трепетом своей души, и помогать движению этого главного. Между прочим, он впервые ввел в русский стих марш — «Левый марш», «Наш марш», «Осторожный марш», «Марш — оборона», и как это органично вошло в структуру русского стиха...

ГОРБОВСКИЙ. Уже в том, как по-разному преломляются традиции Маяковского в творчестве современных поэтов, видно, какой это сложный и многогранный мир — поэзия Маяковского. Достаточно назвать имена Р. Рождественского, Евг. Евтушенко, А. Вознесенского. Причем каждый из них развивает по преимуществу какую-то одну сторону «маяковской» традиции. У Рождественского это — интонация публициста. У Евтушенко — социальная зоркость. У Вознесенского — метафористика, искусство построения образа. Среди тех, на кого повлиял Маяковский— экспериментатор стиха, я назвал бы еще обязательно имя ленинградца В. Сосноры.

Есть Маяковский больших поэм. Есть Маяковский-лирик, мне лично наиболее близкий и доныне. Мне кажется, что в этой области многое осталось у него неосуществленным. Но и того, что есть, достаточно, чтобы составить и издать книгу «Маяковский. Лирика», куда вошли бы философские и любовные строки поэта. Впрочем, и без «Стихов о советском паспорте», без «Левого марша» я такую книгу себе не представляю.

ДУДИН. Каждый художник, кроме таланта, обязан иметь опыт синяков и шишек познания мира. А если у него нет опыта синяков и шишек познания мира, он должен иметь такое чувство со-переживания, такое со-чувствие, которое равно самой боли, тогда что-нибудь получится.

Поэзия — дело молодости. Молодость, конечно, надо понимать не только в узковозрастном смысле, а гораздо шире, как вечное беспокойство о поисках и открытиях человеческого сердца, об ответственности человека за красоту мира, за эстафету нравственности, духовности.

АДАМОВИЧ. Нравственность, духовность, интеллигентность — это нас с Граниным волновало, когда мы писали «Блокадную книгу». На вечерах, литературных встречах меня часто спрашивают, как получилось, что я, писатель белорусский, участвовал в этой работе. Теперь, спустя время, когда раздумываешь об этом, то приходишь к выводу, что было, наверное, какое-то внутреннее, подсознательное, а потом уже сознательное, намеренное обращение после белорусских хатынских трагедий к ленинградской блокадной: ведь и то, и другое — трагедия века, горечь и геройство, суровая быль и безмерная боль, неутихающая память. Пятого апреля 1975 года, я очень хорошо помню этот день, мы поехали с Граниным записывать первую блокадную историю. Что же открывалось нам в собранном материале о силе духа ленинградцев в трагические 900 блокадных дней? Ленинград нам открыл, и мы хотели сказать это книгой: одна из опор духа, стойкости, то, что удержало в холод, в голод от моральной дистрофии, от распада,—внутренняя культура, интеллигентность. Внутренняя культура, интеллигентность — сила, а не слабость человека. Главу о школьнике Юре Рябинине, когда писали, для себя условно называли: «Мальчик-интеллигент».

ДУДИН. В жуткие дни и ночи января 42-го года, когда голод достиг предела, архитектор А. С. Никольский, сидя в промозглом подвале Эрмитажа, набрасывал проекты победных, триумфальных арок, и весной 45-го именно по этим рисункам, по этим чертежам были построены за Кировским заводом триумфальные арки. Неважно, что фанерные, временные, главное, что под их сводами празднично шла ленинградская гвардия героев.

Известно, что в блокадном городе многие перечитывали поэму «Хорошо!». Сколько находили совпадений — в том, как жили, как чувствовали, как ощущали себя. Поэт несет в подарок любимой полполена березовых дров, драгоценные морковинки, делит с сестрой щепотку соли, «в окно — сугроб. Глядит горбат. Не вымерзли покамест?» — все это было близко ленинградцам. По застывшим улицам и площадям из репродукторов неслись строки: «Стройся в ряды! Греми и громи! Всё и все для победы! И будет хлеб, и будет мир, и рухнут блокады беды...» Маяковский помогал городу выстоять. В апреле 43-го был устроен вечер его памяти, выступали Вс. Азаров, Вс. Вишневский, Н. Тихонов...

Мужество духа — ни с чем не сравнимое богатство, оставленное блокадниками в наследство другим поколениям. «Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним дыханьем с Ленинградом, я не геройствовала, а жила». «Жила» — так говорила О. Берггольц, ставшая символом мужества Ленинграда, так ощущал себя почти каждый блокадник, и эта жизнь в самой обыденности подвига была тем чудом, возвеличивающим человеческую душу, которого не мог понять механичный, лишенный духовной сути гитлеровский фашизм — он мог рассчитать и рассчитал многое, но по своей звериной природе духовности он не мог уловить.

АДАМОВИЧ. Нам, авторам «Блокадной книги», было радостно находить в многочисленных письмах читателей отзвук этой мысли, этой нашей убежденности в силе интеллигентности. Вот письмо от блокадника, который рассказывает, что встретил в голодном городе приятельницу своих юных лет и она поведала ему, как спасала своих пожилых родителей и двух детей. «Позже я понял, — говорит он, — что в ней была именно та **интеллигентная закваска**, которая не просто украшает, но и одухотворяет человека».

ИБРАГИМБЕКОВ. Считать себя интеллигентом и быть им, проявлять настоящую «интеллигентскую закваску», как отлично сказал ваш читатель,— это очень разные вещи. Если способности, знания не помножены на самоотдачу, на желание биться за что-то не только ради своих сугубо личных интересов, — если этого нет, эффект интеллигентности возникнуть не может. Для меня интеллигент тот, кто, усвоив духовный опыт предшествующих поколений, передает его потомкам, в ком живет внутренняя потребность, необходимость быть полезным обществу. Есть категория людей, которые выбрали для себя стезю созерцателя. Они звезд с неба не хватают не потому, что не могут, а потому, что не хотят — так проще, беззаботнее. Всегда легче думать только о себе. И эти люди могут жить, не очень себя утруждая, потому что знают: есть другие, кто себя утрудит, озаботит, кто взвалит на себя и свою часть общего груза, и их часть. Я думаю, что равнодушие — это серьезная проблема в ряду проблем — человек и общество, человек среди людей. Проблема равнодушия, пассивной позиции многолика. Я пытался среди прочих морально-этических, нравственных тем коснуться и этой в фильмах «Деловая поездка», «Последнее слово...», еще раньше — в пьесе «Женщина за зеленой дверью». В одном случае соседи по двору, занятые собственными делами, глухи к крикам женщины за зеленой дверью, в другом — люди равнодушно взирают на то, как пьют молодые рабочие, а в результате их веселый час оканчивается трагедией, в третьем... В общем, все они вроде бы неплохие люди, не какие-нибудь моральные уроды, но мера отзывчивости мала, стержень ответственности непрочен.

ДУДИН. А если уж на то пошло: все самое великое на свете создано на почве беспокойства, а не на почве благополучия. Жир заносчив, туп и бездарен. «Жирок заливает щелочки быта и застывает, тих и широк» — и Маяковский ненавидел этот жир и учил всех его ненавидеть.

ГОРБОВСКИЙ. Город залечивал блокадные раны. И одновременно, осмелев, высовывалось из своих укрытий мещанство, всяческая обывательщина. Пусть ее не так уж много количественно — на общем фоне она вызывала особое отвращение и протест. Вот тут и понадобился, тут и пригодился нам Маяковский! Помнится, у меня был большой однотомник с красным профилем поэта на обложке. Я часто открывал его, читая и перечитывая любимое: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?» — и многое другое. Мне уже тогда были близки другие поэты — Блок, Есенин. Но Маяковский давал то, что мог дать только он: яростную энергию, пафос неприятия обывательского благополучия и «позорного благоразумия».

ДУДИН. Маяковский весь состоит из беспокойства за человека, за человеческую жизнь, за невероятно трудную дорогу к совершенству. А «дрянь пока что мало поредела» — это, к сожалению, правда и по сей день. Маяковский был борцом бескомпромиссным, поэтому его стиль — стиль наступлений, атаки: «надо жизнь сначала переделать...». Он всеми возможными способами старался расширить диапазон действия художника.

ИБРАГИМБЕКОВ. Маяковский не только провозглашал: «Хорошо!», он намерен был сделать поэму «Плохо». Мы не знаем, что конкретно вызвало этот замысел, но можно предположить, что определенная часть тематики поэмы — это, как он говорил, «сложные, висящие в воздухе вопросы — чиновничество, бюрократизм, скука, официальщина», это, безусловно, мещанство, обывательщина...

ГОРБОВСКИЙ. «...В быт в новенький лезут чиновники». Вопросы быта, этики, культуры, проблемы воспитания молодежи — темы этих выступлений, направленных против обывательски-мещанских представлений об «изящной жизни», Маяковский обозначил пародийно-ироническим лозунгом «Даешь изящную жизнь!». Так же назвал стихотворение — «Даешь изячную жизнь», где, поменяв «щ» на «ч», еще презрительнее высказал свое отношение к этой мрази.

ИБРАГИМБЕКОВ. Этот лозунг актуален и сегодня. Мещанин живуч, может, только оболочка другая — от вещизма, скажем, к книгомании: его квартиру украшают коллекции и бутылок, и книг.

ДУДИН. А помните ответ Маяковского на вопрос о собирательстве книг: «Коллекция неразрезанных книг отвратительна».

ИБРАГИМБЕКОВ. Это еще хуже, чем вещизм. Потому что книги скапливаются в руках тех, кому они не нужны ни для работы, ни для учебы, ни для свободного чтения, а кто может их просто достать. И в то же время люди, жаждущие пищи духовной, купить их не могут.

Маяковский вытащил на свет божий «Клопа» — «обывателиуса вульгариса», чтоб развенчать, разоблачить мещанина. Он придумал «Баню», чтобы она чистила и мыла бюрократов, мешающих творчеству, мешающих движению вперед. Маяковский умел соединить в одной пьесе героическое, пафосное, патетическое и комедийное, сатирическое, обличительное начала. Причем сатира Маяковского и в пьесах, и в стихах остросоциальна.

ГОРБОВСКИЙ. На диспуте в Политехническом «Нужна ли нам сатира?» один из участников утверждал, что сатира не может существовать при диктатуре пролетариата, так как ей «придется поражать свое государство и свою общественность». Маяковский, выступив, сказал, что вот такие блюстители порядка не хотели печатать «Прозаседавшихся», а Ленин цитировал строки из этого стихотворения — он смотрел на возможность сатиры в советских условиях иначе. Долг, о котором напоминал Маяковский—«Долг наш—реветь медногорлой сиреной в тумане мещанья, у бурь в кипеньи», — он существует и сегодня. И сейчас неплохо было бы по телевидению читать не утратившие актуальности такие стихи Маяковского, как «Фабрика бюрократов», «Искусственные люди», «Взяточники», «Служака»...

ИБРАГИМБЕКОВ. А почему бы всесоюзному телевидению не перенять опыт «Фитиля» и не вывести этих типов на самый массовый экран — не открыть свою сатирическую рубрику? И тут, на телевидении, между прочим, может обнаружиться огромное поле деятельности не только для публицистов, очеркистов, поэтов, но и для сатириков — и во внутренней тематике, и в международной.

ДУДИН. Еще об одном хотелось бы здесь сказать — об отношении к памяти. У нас очень многое делается для того, чтоб не прерывалась связь времен. Я расскажу такую историю. В 1964 году в Лениздате вышла моя поэма «Песня Вороньей горе». И вдруг, почти уже через двадцать лет, я получаю письмо, которое начинается строками:

Огонь!
И смерть вставала кругом
Над местом, где упал снаряд.
...Потом я увидал под Лугой
На летней даче
Детский сад,
Сад пятилетних инвалидов,
Игру смеющихся калек...
Не дай вам бог такое видеть,
Такое вынести вовек.

В 1946 году я поехал побродить по лесу за Гатчину, неожиданно вышел к даче детского сада и увидел — ребятишки без рук, без ног играли в мяч. И вот теперь это письмо:

«Я не случайно начала свое письмо со строк ваших стихов. Они, эти строчки, выражают самое ужасное, что можно испытать в жизни. И даже у меня идут по спине мурашки, когда я читаю их. Почему даже у меня? Да потому, что я одна из тех, которых вы видели тогда под Лугой... Прошли годы, и мы все выросли и заняли свое место в жизни. И те, которые вызывали в вашей душе столько боли, отчаяния, не стали обузой обществу. О всех не расскажешь. Достаточно вспомнить, что именно в нашем доме жил «целинный Маресьев» — Картаузов, лауреат Ленинской премии Орлов... Я всегда думаю о тех замечательных людях, которые, терпя невзгоды, тяготы, лишения, оставались людьми и не только сами жили, но еще и в нас, безжизненных, изувеченных ребятишках, воспитали волю к жизни. Я часто рассказывала дочери, сейчас ученице 10-го класса, о жизни в детдоме, о войне, о героизме наших педагогов, и вот теперь, когда встал вопрос о теме олимпиадной работы, она выбрала «Дети блокадного Ленинграда». Может быть, у вас есть что-нибудь, относящееся к более полному раскрытию этой темы? В. Д. Максимова». В День Победы пришла от Максимовой поздравительная открытка и сообщение: «За олимпиадную работу, из-за которой наше знакомство стало ближе, дочь получила диплом 1-й степени, заняв первое место на городском туре по истории и обществоведению. Ее работу, посвященную организации нашего детского дома в дни блокады и воспевающую самоотверженный труд педагогов, нашли интересной и содержательной и обещали поместить в музей истории Ленинграда».

АДАМОВИЧ. Вы затронули очень важный вопрос о военной памяти. Как-то, обсуждая предполагаемую в Минске конференцию о современных проблемах военной прозы, толковали мы с Д. Граниным о том, куда дальше идти пишущим о войне. Вопрос этот был поставлен читателем в письме к нам. В наступившие, в наваливающиеся новыми тревогами 80-е годы. На столе у Гранина лежала новая его вещь, над которой он трудился, и, как я уже знал, — о войне. Мы с ним пустились в рассуждения о том, в частности, отчего «наша» война столь долго не становится историей, никак не отдалится от нас. Ведь на Западе вторая мировая война для многих (и в литературе) стала историей, притом «приевшейся». Недавно, когда я был в Америке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, директор по распространению одного из нью-йоркских издательств сказала мне, что литература о минувшей войне — «сейловая», то есть приносящая убытки. Нас они даже упрекают — западные критики, издатели, иногда и писатели: «Сколько можно о том, что происходило так давно? Это — противоестественно, против законов памяти, которой положено же когда-то улечься, успокоиться». А те, у кого совесть пожиже, намекают или даже открытым текстом пишут, что в неотступности нашей памяти проявляется «установка на войну», на агрессию, Вот уж что называется — с ног на голову! А в ФРГ, где мы рассказывали о наших Хатынях, голландская писательница свою литературу нам в пример поставила: «Мы тоже воевали, но о войне уже почти не пишем». Что ж, какая война — такая и память! Д. Гранин высказал такую мысль: «Не забуду, как после войны мы, кто участвовал в ней, испытывали сладостное ощущение мира, послевоенной жизни. А потом началась предвоенная жизнь, то есть поколение, которое шло за нами, вошло в полосу новых угроз, опасений. Поколение, над которым висит в течение уже стольких лет угроза ядерной войны». А не здесь ли еще одна особенность нашего времени, питающая безжалостный реализм военной прозы, — послевоенное время тут же перешло в предвоенное.

«Если бы до начала атомной войны оставалось несколько минут, а вам дали бы возможность говорить и быть услышанным всем человечеством, что вы сказали бы?» — об этом вопрошает анкета, розданная участникам писательского разговора в Минске.

ДУДИН. Я все-таки верю в доброе начало человеческой души. Я думаю, человечество не допустит войны.

АДАМОВИЧ. Никогда в истории не было момента, чтоб столь многое зависело именно от духовного, нравственного потенциала человека, человечества. Человек умелый и человек разумный — они свой отрезок пути проделали. Дальше идти — если будет дано, если сможем, удержимся на краю, — человеку гуманному. Мы не знаем, сколько осталось нам, людям, если атомная война все-таки обрушится на планету. Но есть еще время говорить и даже быть услышанными. В руках у нас мощнейший «мегафон» — литература.

ИБРАГИМБЕКОВ. В наш век роль литературы, искусства действительно, как никогда, велика. Может быть, на мне сказывается то, что в своей дописательской жизни я занимался точными науками, теорией систем, в которой поведение каждого отдельного элемента стремятся объяснить, исходя из интересов системы в целом, но мне думается, что род людской, достигнув определенного уровня развития и начав в какой-то момент существовать как достаточно сложный и целостный организм, стал инстинктивно (это свойственно всякому жизнеспособному организму) бояться саморазрушения. И именно этим благоприобретенным инстинктом самосохранения человечества, мне кажется, объясняется постоянная потребность людей заниматься воспитанием чувств, то есть бороться с тем в человеке, что способно повредить так или иначе человечеству в целом. Это стало особенно актуальным в наши дни, когда один человек простым «нажатием кнопки» может существенно повлиять на судьбы всего мира.

АДАМОВИЧ. Это одна из первостепенных задач литературы — гуманизация человека, людей, их взаимоотношений на всех уровнях. Вопрос сейчас и о том, что писать, и о том, как писать. Пусть дойдет до людей все, что хочу, не сразу, пусть через десятилетие — так рассуждать сегодня мы не имеем права. Необходимо, чтоб доходило сразу, немедленно, сегодня мы должны писать, держа в голове: возможно, столько-то осталось до того мгновения, до «нажатия кнопки»... Тут нужен замах Маяковского, его молниеносность.

ДУДИН. Маяковский ненавидел войну. Его поэма «Война и мир» — крик человека, понимающего суть войны. Причем крик этот сколько времени тому назад раздался — и до сих пор разносится по земле. Маяковский верил, что «Вселенная расцветет еще, радостна, нова», что «люди родятся, настоящие люди, бога самого милосердней и лучше».

Материалы подготовили специальный корреспондент «ЛГ» И. РИШИНА, собственный корреспондент «ЛГ» по Ленинграду И. ФОНЯКОВ

Сегодня в «разговоре-путешествии» участвуют:
Михаил ДУДИН,
Глеб ГОРБОВСКИЙ,
Алесь АДАМОВИЧ,
Рустам ИБРАГИМБЕКОВ

ЛЕНИНГРАД. Здесь прошла его юность, сюда он потом много раз приезжал — с 1924 по 1930 год он был в Ленинграде 13 раз. Поездки связывались с выступлениями, изданием книг, постановкой поэтической композиции «Двадцать пятое», пьес — «Клоп», который увидел свет на сцене филиала Большого драматического театра, и «Баня» — ее Маяковский читал в Ленинграде и Колпине, затем она была сыграна в театре Народного дома и в филиале БДТ.

В городе многое связано с Маяковским, многое хранит память о нем. Один из старейших поэтов Ленинграда Вс. Азаров вспоминает, как однажды в 40-м году он шел домой зимним вечером по Надеждинской улице. На углу на стремянке стоял человек. Качавшийся от ветра уличный фонарь осветил его. Человек снял табличку с надписью «Надеждинская улица» и аккуратно стал набивать другую. Потом сошел, чтобы снизу оценить свою работу. На темно-синем фоне белыми буквами отчетливо вырисовывалось: улица Маяковского. В доме на Надеждинской Маяковский снимал комнату.

Молодой Маяковский часто приходил в деревянный домик на Песочной улице (ныне улица профессора Попова), где жили художник М. Матюшин, поэтесса Елена Гуро, бывал В. Хлебников и другие литераторы. К началу войны она, по существу, оставалась единственной квартирой в городе, хранившей живую память о Маяковском (все прочие были «бивуаками»), ее берегла писательница О. Матюшина— вдова художника. Во время войны тут находилась писательская «коммуна» (Вс. Вишневский, А. Крон. Вс. Азаров), создававшая либретто музыкальной комедии «Раскинулось море широко». Дом этот существует до сих пор. Здесь должен быть открыт филиал музея города.

Имя его носит ленинградский Дом писателя. В канун юбилея поэта здесь, в Доме писателя имени В. В. Маяковского, собрались А. Адамович, Г. Горбовский, М. Дудин, Р. Ибрагимбеков. М. Дудин и Г. Горбовский, как известно, ленинградцы, а белорус А. Адамович и азербайджанец Р. Ибрагимбеков тоже причастны к городу на Неве — А. Адамович как один из авторов «Блокадной книги», недавно отмеченной рабочей премией производственного объединения «Невский завод» имени В. И. Ленина; Р. Ибрагимбеков — как драматург, «родившийся» именно в этом городе: Г. Товстоногов прочитал его первую опубликованную повесть «На 9-й Хребтовой» и предложил написать пьесу. Так появилась «Женщина за зеленой дверью». В БДТ шел «Дом на песке», а пьеса «Похожий на льва» была поставлена в Ленинградском театре драмы и комедии.

«...Я ЗЕМЛЮ ЭТУ ЛЮБЛЮ!»